

АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О ПУТЕШЕСТВИЯХ ВО ВРЕМЕНИ

ЛУННЫЙ ДОЛГ

СЕРИЯ КНИГ

ЧЁРНЫЙ ХОД

КНИГА ПЯТАЯ



Александр Ладогин

Чёрный ход

<https://litres.ru/74679403>

SelfPub; 2026

Аннотация

На Пушкинской вырос ледник – прямо над дверью, через которую полковник Корсаков встречался с сыном, оставшимся в XXI веке. Теперь ему нужен другой путь. Но в подземельях Гатчины эту дорогу уже нашли чужие.

Петербург, 1908 год. Под Приоратом скрыта камера, где лунный свет открывает проход между столетиями. Кто пользуется им? Зачем неизвестным сведения о будущем и доступ к императору? Следы ведут от глухариного тока к дворцовым канцеляриям, от тайных писем – к людям, умеющим превращать чужую совесть в оружие.

Корсаков привык защищать близких, просчитывать противника и сам решать, какую правду можно открыть. Но теперь под угрозой не только его тайна, но и всё, что стало ему дорого в чужом времени. Каждое умолчание имеет цену, каждый выбор может оказаться необратимым. А за одной дверью может оказаться не тот век, которого он ищет.

Пятая книга цикла «Лунный долг».

Исторический детектив, мистика и шпионская игра в Петербурге начала XX века.

Содержание

Глава первая. Крещенский сочельник	4
Глава вторая. Следов подхода не имеется	24
Г	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Чёрный ход

Глава первая. Крещенский сочельник

I

Знаменская улица, флигель. 5 января 1908 года, суббота.

Матрёна постучала в восьмом часу, три раза, с расстановкой, и вошла, не дожидаясь ответа.

За три месяца она так и не решила, зачем стучит. Стучать она начала на другой день после венчания и с тех пор не пропустила ни одного утра, однако входила всегда сразу: стук, по её понятиям, был не просьбой, а предупреждением – молодые, мол, имейте в виду. Корсаков однажды попробовал ответить «войдите»; Матрёна остановилась на пороге, взглянула на него с укором и объяснила, что она и так вошла.

Сегодня она принесла чай, только чай, в большом чайнике под ватным колпаком, и два стакана в подстаканниках, и больше ничего.

— Сочельник, – объявила она, ставя поднос на край стола.
– До воды не положено.

— А чай?

— Чай не еда. Чай для согрева. – Матрёна поправила стакан, чтобы не кособочился. – А кто до воды поест, тому вода

не поможет. Это я не придумала, это так всегда.

Лёля сидела за своим столом у окна, в шали поверх домашнего платья, и, не оборачиваясь, протянула руку за стаканом. Перед ней лежал раскрытый немецкий атлас, и на цветной таблице, которую Матрёна старалась не замечать, был нарисован человек без кожи, со всеми жилами наружу, очень спокойный, будто его это нисколько не беспокоило. Весной у Лёли были выпускные испытания. С декабря она читала за завтраком, за обедом и перед сном, и Корсаков привык, что жена разговаривает с ним, не поднимая глаз, так же, как привык в своё время разговаривать с людьми, которые не поднимали глаз от карты.

— Матрёна Ивановна, — окликнула Лёля. — Воду когда принесёте?

— К обеду Гришку пошлю. Он сам вызвался.

— Даром? — удивился Корсаков.

Матрёна поджала губы так, что ответа не потребовалось.

Гришка в эти дни жил в большом доме на правах человека, у которого Святки. Гимназия отпустила его до седьмого числа, и Гришка распоряжался свободой по собственному разумению: катался с горы на Знаменской площади, ходил с соседскими мальчишками смотреть, как на Неве ставят иордань, и за небольшую плату оказывал дому услуги. Тариф он вывесил на двери людской собственноручно, печатными буквами, и Прохор дважды его снимал, а Гришка дважды вешал обратно. В сочельник тариф пополнился новой строкой:

«Святая вода из Знаменской: 5 коп. С хвоста очереди: 7».

— Святую воду за деньги носить — грех, — сказала ему Матрёна ещё вчера.

— Так я не за святость беру, Матрёна Ивановна! — возразил Гришка. — Я за ноги.

С этим спорить было трудно, и Матрёна махнула рукой, и вопрос о грехе остался в доме открытым.

Корсаков пил чай стоя, у своего стола, и не сводил глаз с ящика.

Ящик не запирался. Замок в нём сломался ещё при прежнем хозяине флигеля, а чинить его Корсаков не стал: всё, что лежало внутри, было опасно только для него самого, и замок от этого не спас бы. Там лежали письма Ильи, пачкой, перевязанные бечёвкой, белый конверт Ирины и коричневый пакет генерала, запечатанный тёмно-красным сургучом, лицевой стороной вниз, так, чтобы надпись «Вскрыть, если дверь закроется» не попадалась на глаза каждый раз, как он открывает ящик за чистым листом. И сверху всего, отдельно, письмо, которое он написал в сочельник, двенадцать дней назад: «Илье. Весной».

Сегодня было полнолуние.

Он не заглядывал в таблицу Звягина. Таблица лежала там же, в ящике, но смотреть в неё не было нужды: дату он знал, как знают день рождения близкого человека. Ночь на шестое января. По новому стилю ночь на девятнадцатое, а там, по ту сторону, с лунным долгом в четыре дня, ночь на двадцать

третье января две тысячи восьмого года. Луна взойдёт на закате, в четвёртом часу, а к полуночи встанет высоко над крышами.

В сентябре генерал предупредил, что окон в новом году не обещает. «Не из-за неба». Корсаков тогда принял это к сведению и решил, что подождёт весны. Илья обещал прийти весной, письмо было написано к весне, и в январе во второй двор идти было незачем.

И всё же он пойдёт.

Есть привычки, которые человек приобретает не умом, а телом, и тело хранит их дольше, чем ум помнит причину. Старый солдат, двадцать лет как вышедший в отставку, просыпается в шестом часу, оттого что в полку били зорю, и лежит в темноте, не понимая, что его разбудило. Вдова продолжает ставить на стол лишний прибор, а потом, спохватившись, не убирает его, потому что убрать – значит согласиться. Человек может принять решение твёрдо, честно, при свидетелях, и решение будет настоящим, однако тело его ещё долго будет ходить старыми дорогами, как лошадь, которую распрягли у ворот, а она всё тянет к прежней конюшне. Решение живёт в голове; дорога живёт в ногах. И не всегда понятно, кто из них прав.

Два года ноги Корсакова ходили во второй двор дома на Пушкинской раз в месяц, в ночь полнолуния. Сегодня они собирались туда снова, и он не видел причины им мешать.

— Вы пойдёте? – спросила Лёля, не поднимая головы от

атласа.

Он не удивился: за три месяца он перестал удивляться тому, что она замечает.

— Схожу. Посмотреть.

— Днём или ночью?

— Сначала засветло.

Лёля перевернула страницу. Человек без кожи сменился человеком без мышц, ещё спокойнее прежнего.

— Зачем?

— Чтобы ночью не было сюрпризов, – признался он, поймав. – Привычка. Сначала смотришь место при свете, потом идёшь в темноте.

— Тогда возьмите шарф, – сказала Лёля. – Оба раза.

Она сказала это тем же голосом, каким в сентябре, перед последним окном, сказала ему то же самое, и он услышал это, а она на то и рассчитывала. Больше она ничего не сказала. Корсаков допил чай, поставил стакан на поднос и пошёл в Сенат.

II

Пушкинская улица, дом Мальцева, второй двор. 5 января 1908 года, около трёх часов пополудни.

Из Сената он вышел раньше обычного: в сочельник присутствие закрылось к полудню, и даже Велехов, который считал, что праздник не причина оставлять дела, уехал домой в первом часу, отдохнуть перед всенощной.

Корсаков пошёл пешком. Морозило, небо стояло чистое,

высокое, бледно-голубое, и над Невским висел тот прозрачный зимний свет, в котором петербургские дома кажутся вымытыми и чужими, словно их привезли откуда-то из Италии и забыли перекрасить. По Невскому шли с базаров с кулками, с ёлочными ветками, с бутылками под святую воду. У Аничкова моста дежурил городской в башлыке и оглядывал всех с подозрением, которое в праздник казалось почти отеческим. На углу Пушкинской продавали горячий сбитень. Бронзовый Пушкин в маленьком сквере утопал по колено в снегу, с непокрытой головой, и вид у него был такой, словно он тоже давно собирался домой и не мог вспомнить, где живёт.

Первый двор дома Мальцева был такой, как всегда: дрова в поленницах, обледенелый каменный желоб, дворницкая с дымом из трубы. Васятка колот лёд у водосточной трубы, увидел Корсакова, снял шапку и, не надевая её, пошёл следом к арке. Он всегда так делал, и Корсаков два года не мог понять, вежливость это или любопытство, и в конце концов решил, что у Васятки это одно и то же.

Под второй аркой пахло смолой.

Корсаков остановился.

Во втором дворе, в углу, у крыльца, стоял сруб.

Новый, из свежих сосновых брёвен, ещё жёлтых, с белыми каплями смолы на срезах. Невысокий, по грудь человеку над землёй, и было видно, что большая часть его ушла вниз, в яму: вокруг сруба лежала на снегу глинистая, мёрзлая, раз-

вороченная земля. Крыша из горбыля, засыпанная поверх опилками и соломой, и дверца с висячим замком. К дверце от арки вела утоптанная тропа, широкая, санная, и по тропе как раз въезжали ломовые.

Их было трое, и на каждых санях, переложенные соломой, лежали голубоватые, мутные, тяжёлые глыбы невского льда, ровные, как кирпичи, только каждый кирпич был с сундук. Мужики в рукавицах, с железными крючьями, стаскивали глыбы с саней и спускали в люк, откинутый в крыше сруба. Внизу кто-то принимал их и ругался, коротко, беззлобно, по-артельному. Глыба уходила вниз с глухим стуком, и следующая уже висела на крючьях.

— Ледник, барин, — пояснил Васятка из-за плеча, с тем удовлетворением, с каким сообщают новость человеку, который её не знает. — Плотников поставил. Рыбник наш, с лицевой. Между праздниками поставили, на третий день. Плотники за два дня срубили, яму копали с костром, земля-то мёрзлая. А лёд с Невы, с Кронверки, артель возит. Сорок возов уговорились.

Корсаков ничего не ответил.

Глядел он не на сруб, а на крыльцо: чугунное, разбитое, с надломленной стойкой перил, то самое. Крыльцо было на месте. И водосточная труба была на месте, в трёх шагах от него, с ледяной бородой внизу. Шесть шагов от крыльца, три от трубы.

Сруб поставили точно на это место.

Не рядом и не около. Он мысленно провёл от крыльца и от трубы две линии, как провёл бы их на плане, и линии сошлись под горбылём крыши, под люком, в который сейчас уходила голубая глыба.

Ледник, подумал он, обыкновенный ледник. В Петербурге их сотни, в каждом втором дворе, где есть лавка, мясо, рыба или молоко. Лёд режут на Неве в январе, возят на ломовых, складывают в яму под сруб, пересыпают опилками, и он лежит до сентября, а летом из него колют куски для погребов и для мороженщиков. Ничего проще не бывает. Рыбнику с лицевой стороны нужен лёд к весне. Двор пустой, угол свободный, и управляющий сдал его за плату. Плотники управились за два дня.

Всё это было правдой, и всё это можно было проверить.

Он подошёл ближе, к самому срубу, и положил ладонь на бревно. Бревно было холодное, шершавое, липкое от смолы. Сквозь щель между венцами он увидел внизу, в полутьме, ряды льда, уложенные плотно, глыба к глыбе, и человека в тулупе, который ровнял их ломом.

— Глубоко копали? – спросил он, не оборачиваясь.

— Сажени на полторы, барин. До камня. Там у нас, говорят, камень, под двором-то. Старая мостовая, что ли. Плотники ругались, лом поломали.

До камня.

Корсаков отнял ладонь, на которой остался смолистый след, и машинально вытер её о перчатку. На второй день

Рождества, занося Васятке рубль «на праздник», он прошёл через этот двор, и двор был пустой. Крыльцо, труба, снег. Он постоял тогда на месте, просто так, без всякой цели. И ушёл.

Значит, после Рождества, между праздниками, за два дня.

Так, хватит, сказал он себе. Ледник – это ледник. Сначала факты, потом выводы. Факт первый: сруб стоит на точке. Факт второй: в срубе сорок возов льда до камня. Факт третий: поставлен после Рождества. Больше фактов нет.

Мужики сбросили последнюю глыбу с третьих саней и стали закладывать люк. Ломовые развернулись в тесном дворе, задевая оглоблями поленницу, и пошли к арке. Один из возчиков, рыжий, в заиндевелой бороде, поглядел на Корсакова, который торчал у сруба без дела, и подмигнул Васятке.

— Барин рыбки хочет, – крикнул он.

— Не твоего ума, – сурово отрезал Васятка. – Смотрят они.

Возчик засмеялся и стегнул лошадь.

Корсаков постоял ещё минуту. Он оглядел сруб, тропу, замок, ровные венцы, поднял глаза на окна над крыльцом: шесть этажей, колодец, серая штукатурка, на четвёртом этаже в одном окне кто-то задёрнул занавеску. Небо в квадрате колодца было чистое.

Будет ясно, понял он, и здесь, и, может быть, там.

Это было почти смешно. Два года он молился на ясное небо, считал облака, выпрашивал у Звягина приметы, а в ту ночь, когда небо, кажется, решило ему не мешать, между

ним и небом легли сорок возов льда с Кронверки.

— Васятка, — сказал он. — Кто сторожит?

— Плотников своего человека посадит. Акима. С собакой. Будку уже несут. — Васятка подумал и добавил, чтобы утешить: — Собака, барин, у Акима старая. Лает только на тех, кого знает.

III



Гатчина, Приоратский парк. 5 января 1908 года, около

четырёх часов.

Сторож Приоратского парка Никифор Брызгалов вышел в обход, когда в окнах Приоратского дома зажгли лампы.

Он всегда так выходил: не по часам, а по лампам. Часам Никифор не доверял. Часы в прихожей Приоратского дома, большие, в футляре, с медным маятником, шли, как хотели, и смотритель Ипатий Кузьмич однажды сказал, что их не заводили бы вовсе, если бы не опись. Лампы же зажигали всегда одинаково: когда солнце уходило за лес и над озером начинало синеть. Сегодня зажгли рано, оттого что сочельник: у служителей Приоратского дома в людской уже накрывали стол для сочива. Проходя через прихожую, куда он занёс смотрительше охапку дров к празднику, Никифор всё же глянул на часы. Было без десяти четыре.

Никифору было шестьдесят два года, и двадцать четыре из них он прослужил в синих кирасирах, здесь же, в Гатчине, вышел унтер-офицером, и двенадцатую зиму сторожил Приоратский парк, получая восемь рублей в месяц, казённые валенки и квартиру в караулке у ворот. Он был вдов, детей у него не было, и единственной его слабостью была аккуратность. Он аккуратно обходил парк, аккуратно запирали калитки, аккуратно записывал в тетрадку всё, что видел, и аккуратно не пил в сочельник: сочельник постный, а постный день он считал днём службы.

Мороз к вечеру окреп, и снег под валенками скрипел так громко, что Никифор слышал свои шаги впереди себя. Чёр-

ное озеро лежало белое, ровное, в синих тенях от прибрежных лип, и на том берегу, над озером, в просвете между голыми липами, поднималась луна.

Она была огромная, полная, медно-жёлтая, как начищенный самоварный бок. Выходила она тяжело, нехотя, будто примёрзла к тому берегу. Никифор остановился и снял рукавицу, чтобы перекреститься: луна в сочельник – к ясному Крещению, а ясное Крещение – к урожаю. Так говорили в его деревне, под Ямбургом, и так он думал всю жизнь, хотя урожая в его жизни не было уже сорок лет: ни поля, ни земли.

Он перекрестился и пошёл дальше, вдоль озера, к Приорату.

Приоратский дом возвышался на холме над водой, белый, с островерхими крышами и с башней, похожий на маленькую крепость из книжки. Под ним, над озером, тянулась терраса, и террасу держала каменная подпорная стена, высокая, в два человеческих роста, сложенная из дикого камня. Летом в стене гнездились стрижи, а зимой к ней наметало сугробы. В стене, у самого низа, под террасой, была низкая железная дверь, ржавая, на висячем замке. Куда она вела, Никифор не знал. Ипатий Кузьмич говорил, что в старый ход, который никуда не ведёт и который заложили ещё до Никифора.

Никифор поднял фонарь.

У подпорной стены, под террасой, стоял человек.

Он замер спиной к стене, лицом к озеру, и смотрел на

луну. Роста среднего, в коротком тёмном пальто, в меховой шапке, с каким-то саквояжем в руке. Стоял он неподвижно, как стоят люди, которые только что поднялись по крутой лестнице и переводят дух. Затем опустил голову, глянул себе под ноги, на снег, словно удивился ему, и сделал шаг. Шаг был неловкий, короткий. Так ступают по льду в новых сапогах.

— Эй! – окликнул Никифор. – Кто таков?

Человек обернулся, однако лица Никифор не разглядел: шапка была надвинута низко, а фонарь светил слабо. Видно было лишь, что лицо гладкое, без бороды.

— Добрый вечер, – ответил человек.

Голос был ровный, господский, чистый, и сказал он это так просто, как если бы они встречались здесь каждый вечер. Но было в этом «добрый вечер» что-то, чего Никифор потом так и не сумел объяснить, хотя объяснять пришлось трижды. Не выговор: выговор был русский, правильный. Скорее то, как человек сказал. Так говорят не сторожу, а ровне. Или так говорят, когда не знают, что перед ними сторож.

И человек пошёл. Быстро, не оглядываясь, по нетронутomu снегу, наискось через газон, к липовой аллее, которая вела к Балтийскому вокзалу. Шёл он неуклюже и скоро, как идут люди, которые боятся опоздать на поезд.

Никифор за ним не побежал. Человек был господин, а за господами в парке Никифор не бегал: это было не по чину и не по годам. Да и бежать по сугробам, с фонарём, в шесть-

десять два, за молодым, было бы смешно. Он только постоял, глядя, как тёмная фигура уходит между лип и как её тень, длинная, лунная, ползёт за ней по снегу.

Только тогда он подошёл к подпорной стене и посветил.

У стены, под самой дверью, снег был истоптан. Немного, на пяточке в аршин: там, где только что был человек. А дальше от этого пяточка шла одна цепочка следов, к аллее. Одна, и только туда.

Никифор посветил вдоль стены, направо и налево. Снег лежал ровный, гладкий, наметённый за неделю, с тонкой ледяной коркой сверху. Ни одного следа к стене. Ни от аллеи, ни с озера, ни сверху, с террасы.

Он посветил на дверь: замок висел на месте, запёртый.

Никифор постоял ещё, и ему стало холодно, хотя только что было тепло. Луна поднялась уже выше и выбралась из ветвей.

Тогда он вернулся в караулку, зажёл вторую лампу, достал тетрадку и записал. Аккуратно, по-унтерски, своими словами: что видел, где и когда. Время он выставил по часам в прихожей, прибавив десять минут на дорогу до стены: четыре часа. Подумав, приписал, что часам этим не верит.

И тут же зачеркнул приписку. Рапорт он напишет утром, когда посмотрит следы при свете, а в рапорте начальству такое писать не годилось.

В людской Приоратского дома в это время садились за сочиво. Никифора звали, он не пошёл. Он сидел в караулке

до полуночи, при двух лампах, и время от времени выходил на крыльцо посмотреть на парк. Парк был пустой и белый, и луна висела над ним высоко, маленькая, яркая, как начищенная пуговица.

IV

Пушкинская улица, дом Мальцева. Ночь на 6 января 1908 года.

Всенощную стояли в Знаменской церкви всем домом. Велехов с палкой у правого клироса, на своём всегдашнем месте, Анна Аркадьевна с лорнетом рядом с братом, Лёля между отцом и мужем, Прохор и Матрёна позади, а Гришка у самых дверей, откуда удобнее было выйти первым. После службы народ снова шёл к большому чану со святой водой, освящённой днём, после обедни, с кувшинами, бидонами, бутылками, толкаясь и извиняясь, и над чаном поднимался пар, и пахло мокрыми шубами, воском и морозом, который вносили с улицы на воротниках. Гришка, уже принёсший домой утреннюю бутылку по тарифу, зачерпнул ещё раз, без очереди и даром, по праву ребёнка, и выбрался обратно к своим с полной бутылкой и таким лицом, будто вынес её из огня.

За ужином ели сочиво, кутью с мёдом, пироги с капустой и постную рыбу. Велехов рассказывал, как в шестьдесят девятом году, в первый год службы, был на Неве у иордани и видел, как один генерал из свиты уронил в прорубь перчатку и не стал её доставать, оттого что неприлично, и как потом в тот же вечер весь город спорил, к добру это или к худу. Анна

Аркадьевна сказала, что к худу, и оказалась права, но в чём, не помнила. Гришка спросил, достали ли перчатку весной.

В одиннадцатом часу Корсаков встал из-за стола. Лёля встала тоже.

— Я провожу вас до ворот.

Велехов поднял глаза вверх пенсне, посмотрел на дочь, на зятя, и опустил их снова. В доме не задавали вопросов, ответы на которые все знали.

Шли пешком, по Знаменской, мимо тёмной громады вокзала, мимо закрытых лавок с замёрзшими окнами. Луна поднялась высоко, белая, маленькая, и свет от неё лежал на мостовой такой, что можно было читать вывески. Снег скрипел, Лёля держала его под руку и молчала, и он был ей благодарен за это молчание больше, чем за любые слова.

У ворот дома Мальцева она остановилась.

— Дальше вы один, — сказала она.

Это был не вопрос, и он только кивнул и ушёл под арку.

Во втором дворе было светло, как днём, только свет был другой, мёртвый и синий. Луна была над колодцем высоко, квадрат неба светился, и брандмауэр напротив крыльца белел, как стена из сахара. Сруб в углу отбрасывал на снег чёткую короткую тень. У сруба, прислонённая к брёвнам, приткнулась новая будка, сколоченная наспех, и из будки торчал хвост собаки. Аким, видно, ушёл к Васятке греться, а собака осталась сторожить за двоих. Она приподняла голову, покосилась на Корсакова и положила её обратно на лапы. Корса-

кова она видела впервые, поэтому, согласно Васятке, лаять не стала.

Он подошёл к крыльцу и встал на своё место. На то, которое было рядом с местом: шесть шагов от крыльца, три от трубы приходились теперь на середину сруба.

Он ждал.

В правом кармане пальто лежал сложенный вчетверо листок, четыре строки карандашом: «Илья. Здесь всё в порядке. Лёля здорова, учится. Жду весны. Папа». Такой листок он писал перед каждой лунной ночью, с тех пор как сын ушёл, и каждый раз, если кисель не появлялся, приносил его домой и клал в ящик, к другим таким же. Это было не письмо, а привычка, вроде того, как проверяют, выключен ли утюг. Сегодня рука сама нащупала его в кармане, и он не стал её вынимать.

Ждать он умел. Он не двигался, засунув руки в карманы пальто, и слушал. Слушал не звуки, их не было. Он слушал воздух, как слушал его два года: не заложит ли уши, не дрогнет ли свет, не пойдёт ли по воздуху та тихая рябь, после которой мир густеет и становится похож на воду в стакане. Обычно это начиналось около полуночи, иногда позже.

Полночь пробила на Знаменской колокольне. Он слышал её через стены, глухо, как слышат часы в соседней квартире.

Ничего не было.

Пробил час. Луна сдвинулась к краю колодца и стала заходить за карниз. Брандмауэр погас. Тень сруба легла длин-

нее и слилась с темнотой у стены. Собака в будке зевнула со стоном, по-стариковски.

Может быть, кисель стоял сейчас там, под горбылём, под соломой, под опилками, под сорока возами льда, внизу, у камня. Может быть, он густел и светился в темноте, между глыбами, и в нём, как в мутной воде, проступал жёлтый фонарь над подъездом две тысячи восьмого года. Может быть, кто-то ждал по ту сторону, на том же месте, и глядел в пустой двор. Корсаков не знал этого и узнать не мог. Если дверь и открылась, она открылась внутрь льда.

Он ушёл в начале второго, и листок так и остался в кармане. Лёля ждала его в дворницкой у Васятки, у печурки, с кружкой Васяткина чая в руках. Он не стал спрашивать, почему она не ушла домой. Она не стала спрашивать, что было во дворе.

Во флигеле она легла сразу. Он разделся, лёг рядом и лежал без сна, глядя в потолок, на котором от лампы в углу дрожало маленькое жёлтое пятно.

В три он встал.

Он оделся в темноте, бесшумно, как одевался когда-то по тревоге, когда нельзя было разбудить соседа по палатке. Взял пальто, шапку, шарф и у двери оглянулся. Лёля лежала, отвернувшись к стене, и дышала ровно.

Луна уже ушла за крыши, и во втором дворе дома Мальцева было темно. Он простоял там до пяти. Он сам не мог бы сказать, чего ждёт: окно закрывалось задолго до рассвета,

так было записано у Звягина в таблице. Он не уходил: уйти в первый раз было мало. Уйти во второй раз значило признать.

Когда он вернулся, лампа во флигеле горела.

Лёля сидела за своим столом одетая, в шали, перед закрытым атласом. Она не читала: она подняла голову и посмотрела на него, и он увидел, что она не спала.

— Вы ходили два раза, — сказала она.

— Да.

— Зачем же снова?

Он снял шапку, повесил на гвоздь. Размотал шарф.

— Первый раз — посмотреть, — ответил он. — А потом — чтобы поверить.

— И как?

— Получилось.

Лёля встала, подошла и взяла у него из рук шарф, мокрый от дыхания и заиндевевший по краю, и повесила его на спинку стула у печки, чтобы высох. Потом погасила лампу.

К утру погода переменилась. С залива ударил ветер, небо затянуло, и на Неве, у иордани, освящали воду в летящем снегу, а звон шёл по всему городу, со всех колоколен сразу, через метель, через крыши, через двойные рамы. Гришка с рассвета убежал смотреть. Матрёна обошла флигель с бутылкой и веточкой, окропила углы, порог, печку, стол Лёли и стол Корсакова, ящик, в котором лежал пакет, и, подумав, окропила ещё и самовар Шурыгиных на полке.

— Это для порядку, — пояснила она. — Чтоб в доме всё

было свящёное.

Корсаков у окна следил, как над крышей каретного сарая ветер рвёт дым из трубы большого дома и кладёт его набок, а снег сыплет косо, мелкий и сухой, и заметает двор. На Пушкинской, во втором дворе, его сейчас наметало на горбыль, на опилки, на солому. Плотников, наверное, будет доволен: снег на крыше ледника – лучшее утепление.

Святая вода, говорят, не портится целый год.

Лёд в погребе, если его хорошо уложить и пересыпать опилками, лежит до сентября. А если сруб глубокий и крыша хорошая, то и до следующей зимы.

Глава вторая. Следов подхода не имеется

I

Царское Село, кабинет дворцового коменданта. 7 января 1908 года, понедельник.

Записку из Царского привёз вечером шестого числа рассылный в башлыке, когда в доме Велехова ещё пили крепёнский чай. Почерк был писарский, подпись короткая: «Прошу пожаловать завтра к одиннадцати. Д.». Велехов прочёл её через плечо зятя, не спрашивая разрешения, как читал всё, что приходило в его дом, вернул и заметил только:

— К одиннадцати. Значит, не горит, но и ждать не станет.

В Царское Корсаков поехал первым утренним поездом с Царскосельского вокзала. В вагоне второго класса было тепло и сонно, пахло угольным дымом и чьими-то духами, у окна дремал священник с саквояжем, а за окном тянулись белые поля с синими тенями от редких берёз. Корсаков глядел на поля и думал о леднике.

Ледник был обыкновенный, и думать о нём было бесполезно до тех пор, пока не выяснится, кто его заказал. Выяснить это можно было через день-другой, и это, скорее всего, ничего бы не решило. Однако мысль возвращалась к срубу, как язык возвращается к выбитому зубу, и он позволил

ей возвращаться, оттого что спорить с ней было ещё утомительнее.

В приёмной коменданта всё было как год назад: часовой у крыльца, казак в черкеске у двери, дежурный офицер за столом с журналом. Офицер был новый, молодой, с безупречным пробором и с той особенной канцелярской вежливостью, которая служит одновременно щитом и забралом. Он записал фамилию посетителя, поднял глаза и осведомился, по какому делу.

— По приглашению его превосходительства.

— В каком качестве прикажете записать?

Корсаков открыл рот и не успел ответить: офицер, видно, вспомнил. Он перелистнул журнал на несколько страниц назад, нашёл там что-то, сверился и аккуратно вывел в графе «Должность» два слова, которые Корсаков, стоя у стола, прочёл вверх ногами.

«Со стороны».

Так его записывали в этой приёмной уже год, и молодой офицер, по-видимому, унаследовал эту формулу от предшественника вместе с журналом, чернильницей и пробором. Писал он её без улыбки, как пишут «в отставке» или «временно исправляющий должность». Где-нибудь в архиве, мелькнуло у Корсакова, через сто лет историк найдёт эти журналы и будет добросовестно искать по штатам, что это за должность такая и кто её учредил.

Дедюлин принял его через четверть часа.

Комендант сидел за столом, а не в кресле у окна, и это Корсаков отметил сразу: за столом принимают по делу. На столе, как всегда, лежали стопки бумаг, каждая под своим пресс-папье, и лишь одна бумага лежала отдельно, перед ним. Он подвинул её через стол, не тратя слов на приветствие.

— Из Гатчины, — сказал он. — Прислали для сведения. Прочтите.

Это была записка дежурного Гатчинской дворцовой полиции, принятая вчера по телефону, и к ней копия, привезённая нарочным сегодня утром, переписанная писарским почерком, с бледной резолюцией сверху.

Резолюція: Возвратить. Изложить по формѣ: примѣты, одежда, слѣды, принятыя мѣры. П.

Его Высокоблагородію господину Гатчинскому дворцовому полицмейстеру

Сторожа Пріоратскаго парка, отставного унтеръ-офицера Никифора Брызгалова

Рапортъ

Честь имѣю донести, что 5-го сего января, въ Крещенскій сочельникъ, будучи въ обходѣ, видѣлъ я у подпорной стѣны Пріоратскаго дома, подъ террасою, неизвѣстнаго чело-вѣка, который оттуда вышелъ и пошелъ по липовой аллеѣ къ Балтійскому вокзалу. Было то въ 4 часа по часамъ Пріоратскаго дома. На окликъ отвѣтилъ: «добрый вечеръ». Откуда онъ взялся, не видалъ. Утромъ 6-го числа ходилъ смот-

рѣть. Слѣды есть, только отъ стѣны.

Сторожъ Никифоръ Брызгаловъ.

Корсаков прочёл один раз и стал читать снова, медленнее.

Пятого января, в сочельник, в четыре.

В это время он шёл с Пушкинской домой, мимо Николаевского вокзала, и думал о срубе. Над Невским стоял тот прозрачный холодный свет, в котором дома кажутся вымытыми, солнце уже ушло за крыши, и начинались сумерки дня полнолуния. Луна должна была подниматься в эти минуты где-то за Охтой, низко, огромная, медная, но он её не видел: её заслоняли дома.

— Гатчина не моя, — продолжал Дедюлин, не дожидаясь, пока он дочитает во второй раз. — Там дворцовое управление своё и полиция своя. Мне присылают для сведения то, что считают нужным присылать. — Он сделал паузу. — Двадцать третьего государь охотится в Гатчине. Шестнадцатого февраля, вероятно, ещё раз. Неизвестный человек выходит из-под Приората за две недели до охоты. Это может быть ничто. Сторож мог выпить в праздник.

— Не мог, ваше превосходительство. Позавчера был строгий пост: сочельник.

Дедюлин поднял глаза.

— Это вы мне как знаток русского быта сообщаете?

— Как человек, которого позавчера не кормили до воды.

Дедюлин посмотрел на него ещё мгновение, и в лице его ничего не изменилось. Только пальцы, лежавшие на краю

стола, дважды тихо стукнули по сукну.

— Поезжайте, — сказал он. — Посмотрите. Со стороны. — Он взял перо. — Приказать вам там никто не может, а вы никому не можете. Я напишу управляющему дворцом. Просьбу. Вас примут, покажут, что сочтут возможным, и, вероятно, будут вами недовольны. Это вы переживёте.

Он писал сам, не вызывая секретаря, быстрым убористым почерком, и Корсаков ждал, глядя в окно на парк под снегом, где между чёрными стволами шёл часовой. Письмо вышло короткое, в восемь строк. Дедюлин промокнул его, сложил, вложил в конверт, надписал адрес и запечатал.

— Ещё одно, — попросил Корсаков, принимая конверт. — Ваше превосходительство, в рапорте время по часам Приоратского дома. Им можно верить?

Дедюлин откинулся на спинку кресла.

— Дмитрий Сергеевич, — произнёс он. — Под моей охраной не одна резиденция. И ни в одной я не проверял, как идут часы в людской. — Он помедлил. — Не знаю. И в этом, как я понимаю, и состоит ваша работа.

II



Гатчина, Приоратский парк. 7 января 1908 года, около трёх часов пополудни.

После вчерашней метели день выдался тихий, почти тёплый, с крыш капало. От Балтийского вокзала до Гатчины поезд шёл около часа, и Корсаков успел прочесть газету, не запомнить из неё ни строчки и дважды проверить, на месте ли конверт коменданта. Перед отходом, на Балтийском, он поставил свои часы по вокзальным. Здесь, в чужом веке, вокзальные часы были для него тем же, чем в своём был сигнал точного времени по радио: привычка солдата, который всегда хочет знать, который час, а ещё больше – насколько точно он это знает.

В управлении, в низком жёлтом здании у дворцовой площади, письмо приняли с той почтительной растерянностью, с какой принимают бумагу от высокого лица, не подчинённого твоему начальству. Управляющий был в отъезде, и чиновник, принявший письмо, прочёл его дважды, пообещал доложить и после некоторого колебания, в котором прямо читалось, как просьба коменданта взвешивается против неудовольствия управляющего, разрешил «осмотреть снаружи и расспросить сторожа». Ключи, объяснил он, у смотрителя Приоратского дома, а смотритель в отпуску до девятого числа, у родных в Петербурге, и без смотрителя ничего не отпирают: опись.

Корсаков поблагодарил: на большее он и не рассчитывал.

Караулка у ворот Приоратского парка оказалась маленькой, жарко натопленной и чистой до неправдоподобия: пол выскоблен добела, на столе ни крошки, на стене казённая икона, лубок с кирасиром на вороном коне и ходики с гирей в виде еловой шишки. Никифор Брызгалов встал навстречу и вытянулся, как в строю, и Корсаков сразу понял, что разговаривать с ним придётся долго и что торопить его нельзя.

— Сидите, Никифор Лукьянович.

— Не могу знать, ваше благородие, как вас величать.

— Никак. Я от коменданта, без чина.

Никифор обдумал это и сел на краешек лавки, держа спину прямо.

Корсаков не спросил его о главном. Он попросил рассказать всё с начала, с той минуты, как Никифор вышел из караулки, и слушал, не перебивая, глядя не на него, а на ходики, чтобы старик не чувствовал на себе взгляда. Никифор рассказывал толково, по-унтерски, с подробностями: лампы в окнах, дрова смотрительше, часы в прихожей, мороз, луна. Затем Корсаков попросил рассказать ещё раз, и Никифор, удивившись, рассказал. Во второй раз он вспомнил, что саквояж человек держал в левой руке, а правой, когда обернулся, тронул шапку, и что шёл он неловко, мелкими шагами, «как по льду в новых сапогах».

— Там разве лёд?

— Никак нет. Снег. Крепкий, с коркой.

— А вы почему так решили?

Никифор пожевал губами.

— А он ноги ставил плоско, — сказал он. — Вот так. — Он показал ладонью. — Как будто не верил, что под ним твёрдо.

Корсаков записал это в книжку, сам не зная зачем. Так записывают то, что ещё ничего не значит, но может начать значить потом.

— А ещё что-нибудь? Кроме приветствия?

— Ничего. Только произнёс он это так, словно мы с ним ровня. Я двенадцатый год тут хожу, господа со мной так не разговаривают. Господа говорят «здравствуй, братец» или вовсе ничего. А этот «добрый вечер». Как своему.

— Пьяный?

— Никак нет, — с достоинством возразил Никифор. — Пьяного я за версту вижу, я двадцать четыре года в полку. И сам я в сочельник ни-ни. Сочельник, ваше... господин, день постный.

Следов на газоне уже не было. Вчера с полудня мело, ветер с озера прошёлся по парку, и снег у подпорной стены лёг гладким наметённым языком, на котором не осталось ничего, кроме птичьих крестиков. Корсаков остановился у края и дальше не пошёл.

— Утром шестого, до метели, вы их видели?

— Как же. Всю стену обошёл, от угла до угла, с фонарём ещё, светает-то поздно. — Никифор переступил с ноги на ногу и вдруг смутился, как смущаются аккуратные люди, когда

их аккуратность выходит наружу. — Я, господин, один след ведром прикрыл. Пожарным. На всякий случай. Думаю, мало ли, начальство спросит, а следа нет.

Ведро стояло у самых ступеней двери, кверху дном, наполовину заметённое, красное, с белыми буквами по боку. Корсаков опустил на корточки и поднял его.

Под ведром, в сером, сухом, нетронutom снегу, лежал след.

Подошва была кожаная, гладкая, без подковки и без гвоздей, носок узкий, каблук невысокий, новый, с ровным краем: хорошие городские ботинки, может быть, с калошами, может быть, без. Отпечаток был одинаковой глубины по всей длине, без вдавленной пятки, и нога, видно, легла плоско, всей ступнёй сразу, без переката, и прав был Никифор: так ступают по скользкому, когда не доверяют подошве. Или так ступают в обуви, к которой ещё не привыкли.

Он поднял голову и взглянул на дверь.

Дверь была низкая, железная, в рост подростка, вделанная в камень подпорной стены на аршин выше земли, и к ней вели три каменные ступени, занесённые снегом. На кованой петле висел большой ржавый амбарный замок, запёртый. Корсаков, не касаясь, осмотрел его со всех сторон, а после замка взялся за петли.

Петли были старые, ржавые, в чешуе, как всё на этой двери. Только под каждой, на камне, темнело маленькое пятно, и такое же пятно, жирное, без ржавчины, лежало на самом

шарнире, там, где полотно двери ходит вокруг стержня. Он снял перчатку, тронул пятно пальцем, и палец стал чёрным.

— Никифор Лукьянович, — окликнул он, не оборачиваясь. — Эту дверь смазывали?

Никифор подошёл, наклонился и разглядывал петли так пристально, как разглядывают мелкую печать.

— Я не мазал, — произнёс он наконец. — И Ипатий Кузьмич не мазал, он туда двенадцать лет не глядел. Ходу там нет. Заложено. Он сам говорил: заложили, ещё когда Приорат перестраивали.

— А замок?

— Как висел, так и висит. Только висячий, господин, его можно и без ключа защёлкнуть. Прижал дужку, и всё. А отпереть без ключа нельзя.

Корсаков молчал.

Человек вышел из двери: это было почти наверняка. Истоптанный, по словам Никифора, пятачок у ступеней, свежая смазка на петлях, след под ведром, носком от двери. Он вышел, прикрыл за собой дверь и защёлкнул замок, который кто-то когда-то отпер ключом, изнутри или снаружи и неизвестно когда.

— А к стене, утром шестого? С аллеи, с озера, с террасы?

— Ни одного. Снег ровный лежал, неделю. Под Новый год, в ночь, сильный шёл, и с тех пор до вчерашнего ни разу.

Значит, человек вошёл в эту дверь до тридцать первого декабря, а вышел пятого января в сумерки и пять суток про-

вёл там, за дверью, в ходе, который никуда не ведёт.

— Там можно просидеть пять суток?

Никифор покачал головой.

— Холод там могильный, — сказал он. — Летом и то, говорят, пар изо рта. А зимой и пёс не высидит.

— Я так рассудил, господин, — добавил Никифор, помолчав, и видно было, что рассуждал он не один день. — Кто-нибудь из своих. У кого ключ от погреба. Под домом, может, ход и не весь заложен, а только с этого края. Вошёл с кухни, вышел здесь. А что «добрый вечер» не по-нашему, так, может, приезжий родственник.

Объяснение было здоровое, и Корсаков ответил, что оно, пожалуй, самое разумное из всех. Тогда у хода есть другой конец, подумал Корсаков. Или кто-то ошибается, что ход заложен. Или человек не входил в эту дверь вовсе, а только вышел из неё, и тогда... Дальше думать было не о чем. Дальше начиналась не служба, а то, о чём он не говорил ни коменданту, ни сторожу.

Он выпрямился, поставил ведро на место, над следом, отряхнул колени и произнёс то, что произнёс бы на его месте любой, кто когда-нибудь осматривал место происшествия:

— Значит, следов подхода не имеется.

Сказал и тут же отметил про себя, что держится это «не имеется» на слове сторожа да на одном следе под ведром. Для рапорта довольно. Для него самого мало.

Никифор пошевелил губами, как заучивают слова молит-

вы.

— Пусть так и стоит? – спросил он.

— Пишите, как было. Вы видели больше меня.

В прихожей Приоратского дома было полутемно и пахло воском и печным теплом. Истопник Савелий, рослый и сонный, впустил их, оглядел Корсакова с головы до ног и, решив, что тот не смотритель и не управляющий, перестал им интересоваться. Часы помещались у лестницы, в высоком футляре красного дерева, с медным маятником за стеклом. Корсаков вынул свои, поставленные днём по вокзальным в Петербурге, и сравнил: приоратские ушли вперёд на двенадцать минут.

— Они у нас всегда вперёд, – сказал Савелий, зевнув. – Ипатий Кузьмич говорит: пускай. Лучше раньше, чем позже, на службу не опоздаешь.

— А назад их никто не переводит?

— А зачем? Им и так хорошо.

Четыре по этим часам было без двенадцати четыре по вокзальным. Корсаков записал и это.

III

Гатчина, канцелярия дворцовой полиции. 8 января 1908 года, вторник.

Рапорт Никифор переписывал в канцелярии, за казённым столом у окна, под надзором писаря.

Писарь был молодой, с напояженными висками и с таким почерком, которым гордился больше, чем всем осталь-

ным в своей жизни. Он предлагал написать за Никифора: тот диктует, писарь пишет, Никифор подписывает. Так делали все, так выходило быстрее, красивее и, как выразился писарь, «юридичнее», но Никифор отказался.

— Своими глазами видел, своей рукой и напишу.

Писарь пожал плечами и выдал ему лист.

Лист был казённый, плотный, с водяными знаками, перо тоже казённое, стальное и тугое. Никифор писал медленно, крупно, по-унтерски, прижимая перо так, что слышно было, как оно скрипит. Он писал всё, что велели в резолюции: приметы, одежду, следы, меры. Писарь заглядывал через плечо и время от времени поправлял: «не „пошёл“, а „удалился“», «не „шапка“, а „головной убор“». Никифор выслушивал и писал по-своему.

Дойдя до следов, он остановился и долго держал перо над бумагой, шевеля губами. Затем написал, что следы идут от двери к аллее, а обратных нет, что замок висит запертый, что на петлях свежая смазка, а кто смазывал, неизвестно. И ниже, отдельной строкой, своей самой крупной буквой:

Значитъ, слѣдовъ подхода не имѣется.

— Это вы от себя? – поинтересовался писарь, прочитав.

— Это господин от коменданта так рассудил. – Никифор подумал. – А я с ним согласен.

— В рапорте не мудрствуют. Излагают.

— Так он и рассудил, а не я, – возразил Никифор. – Моё дело записать.

Писарь хотел ответить, но тут перо Никифора, поднятое над листом, зацепило волосок, приставший к кончику, и на поле, у самого края, в конце той строки, упала клякса: большая, круглая, с хвостиком вбок, похожая на головастика или на заячий след.

Никифор замер, а писарь застонал.

— Третий раз переписывать не дам, — отрезал он. — Бумага казённая, на неё расход. Полицмейстер кляксы не читает. Подписывайте как есть.

Никифор промокнул кляксу осторожно, как промокают рану, дописал меры — что один след прикрыт пожарным ведром — и подписал. Клякса впиталась, побледнела и осталась тёмным головастиком на белом поле, у слова «имеется».

Рапорту дали входящий номер и подшили в дело, а писарь снял с него копию для сведения в Царское и отправил её с вечерней почтой. Никифор вернулся в караулку, затопил печь и сел у окна, глядя на парк.

Дело было сделано, и сделано по форме. Только на душе у него было нехорошо, и он не понимал отчего. Не из-за кляксы, а из-за того, что слова, которые он написал своей рукой, были не его. Он был с ними согласен, это правда, однако придумал их не он. И теперь они лежат в казённом деле, подшитые, с номером, с его подписью внизу, и будут лежать там, пока стоит Гатчина.

Никифор был человек аккуратный. Ему не нравилось, когда в его бумагах лежит чужое.

IV

Знаменская улица, флигель. 8 января 1908 года, вечер.

Звягин приехал в восьмом часу прямо из Пулкова, в шубе, из которой торчали только очки с толстыми стёклами, и очки эти запотели с мороза так, что он вошёл во флигель вслепую, вытянув вперёд руку с портфелем.

— Дмитрий Сергеевич, — начал он, протирая очки платком. — Ваша записка была написана так, будто от ответа зависит судьба империи. Я бросил наблюдения. Надеюсь, империя оценит.

— Ей не доложат.

— Это я так и предполагал. — Звягин надел очки, увидел Лёлю за её столом и поклонился с неловкой учтивостью человека, который со звёздами чувствует себя увереннее, чем с дамами. — Елена Константиновна. Простите за вторжение.

— Аристарх Львович. — Лёля протянула ему руку. — Дмитрий Сергеевич сказал, что вы будете считать Луну. Я посижу тихо. Мне интересно, как это делается.

— Скучно, Елена Константиновна, — честно признался Звягин и сел к столу Корсакова, раскладывая из портфеля таблицы, листы и логарифмическую линейку в футляре. — Гатчина, говорите. Пятое января. Сумерки.

Корсаков дал ему цифры: место, день, час по вокзальным часам. Звягин считал минут двадцать, шевеля губами и время от времени постукивая карандашом по зубам, и Лёля действительно сидела тихо, следя, как карандаш бежит по бума-

ге и как на листе вырастают столбики, которые ничего ей не говорили и, очевидно, говорили Звягину всё.

Наконец он отложил карандаш.

— Полнолуние, — сообщил он, — было пятого января в три часа тридцать девять минут пополудни по петербургскому времени. В Гатчине, на открытом горизонте, Луна взошла в девятнадцать минут четвёртого, ещё до захода Солнца, а Солнце село в сорок минут четвёртого. — Он сверился с листком. — В без двенадцати четыре, о котором вы спрашиваете, она стояла над горизонтом на два градуса. На северо-востоке, азимут сорок девять, если считать от севера.

— А на глаз это сколько?

Звягин вытянул руку перед собой и поставил поперёк один палец.

— Вот столько. Над лесом её, пожалуй, ещё и не видно было бы, если лес высокий. А над озером видно, если смотреть с берега.

Корсаков прикинул высоту на глаз и промолчал.

Без двенадцати четыре, через девять минут после полнолуния, в сумерки, когда Луна стоит над озером на палец, огромная и медная, человек выходит из двери, которая никуда не ведёт, останавливается у стены лицом к озеру и смотрит на Луну. Так стоят люди, которые только что поднялись по крутой лестнице и переводят дух, сказал Никифор.

Или так стоят люди, которые хотят убедиться, что пришли туда, куда шли.

Позавчера ночью, если бы не лёд, на Пушкинской... Он оборвал мысль. Ночь на шестое, та самая, середина которой ближе всего к полнолунию. Пушкинская открывается ночью, а не в сумерки, во дворе, а не под землёй, и ничего общего с Гатчиной у неё нет, кроме даты. И полнолуния.

Это он знал, остальное мог только предполагать. Предполагать можно было что угодно: что у хода под Приоратом есть второй конец, что человек провёл там пять суток, что сторож ошибся, что часы ушли вперёд не на двенадцать минут, а на час. Самым вероятным было самое скучное, то, что предложил Никифор: у кого-то есть ключ от другого конца хода, и этот кто-то вошёл с кухни и вышел у озера. Корсаков записал эту версию первой, как записывают ту, на которую поставил бы деньги, и добросовестно перебрал остальные. Не сходилась в скучной версии одно: зачем человеку с ключом выходить из стены именно в ту минуту, когда над озером встаёт полная Луна, и стоять, глядя на неё, словно проверяя, туда ли пришёл.

Чего он не знал, было больше, чем поместилось бы в книжке.

Одно он отметил сразу и без волнения: если этот человек пришёл тем путём, каким когда-то пришёл он сам, то за две недели до государевой охоты под Приоратом ходит кто-то, кому, может быть, известно будущее, и такого гостя одними рапортами не встречают.

— У вас все дела на Луне, — заметил Звягин, собирая

таблицы. — Я давно хотел спросить: вы, случаем, не пишете трактат? Многие пишут. В прошлом году один полковник прислал в обсерваторию трактат о влиянии Луны на дисциплину в войсках. Сорок страниц, с графиками.

— И что же? Влияет?

— По графикам выходило, что в полнолуние в его полку чаще дерутся, — ответил Звягин. — Я ему ответил, что в полнолуние светлее и лучше видно, кто с кем дерётся. Больше он не писал.

Лёля засмеялась, и Звягин уставился на неё с изумлением, словно не ожидал, что его шутка дойдёт до живого человека, и покраснел.

— Аристарх Львович, — спросила она. — А на людей она влияет? У нас в клинике сестры уверяют, что в такие ночи больные хуже спят.

— Никак, Елена Константиновна, — сказал Звягин серьёзно. — Действуют люди, которые в это верят. В светлую ночь сиделка чаще обходит палаты, оттого что ждёт беспокойства. И будит.

Когда он ушёл, Лёля долго молчала, глядя на мужа, который так и не сел за свой стол.

— Это не трактат, — сказала она.

— Нет.

— Это про Пушкинскую?

— Про Гатчину, — помедлив, ответил он. — Там вышел человек. Пятого, в сумерки. Из двери, за которой ничего нет.

Больше он ничего не добавил, а Лёля подождала, не скажет ли он ещё, и он видел, как она ждёт, и промолчал. Тогда она кивнула, вернулась к своему атласу и перевернула страницу, и он понял, что она отметила это молчание и положила его туда же, куда складывала всё, о чём они не договорили.

Он сел за стол и открыл ящик.

Пакет генерала лежал лицевой стороной вниз, как он его положил: тёмно-красный сургуч, круглая печать без герба, будто оттиснутая донцем гильзы. Переворачивать его он не стал. «Вскрыть, если дверь закроется». Дверь не закрылась. Одна пропущенная ночь – это ещё не «закроется», так он решил ещё в сентябре и не видел причины менять мнение из-за одного сторожа и одной минуты.

Он закрыл ящик и достал книжку.

5 янв. Гатчина, Пріоратъ. Безъ 12 м. 4 ч. по вокз. Луна въ 2° надъ горизонтомъ, на СВ, аз. 49°. Полнолуніе въ 3 ч. 39 м.

Он поймал себя на том, что пишет по-старому, с ятями, как писал теперь все записи, которые могли попасть в чужие руки. За два года это вошло в руку само, как входит в речь чужой выговор у человека, переехавшего в другую страну. Под этой строчкой, подумав, он приписал вторую, короче:

Пушкинская: ледъ.

И закрыл книжку.

Г

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.